
Евгений МАМОНТОВ

ТРИНАДЦАТЬ ОКОН

Повесть

1. Окатовая, 16. Туфли

Занавесок не было, окно выходило на восток, и солнце мешало спать по утрам. Мы ложились поздно.

Потом повесили шторы, сначала на бельевых прищепках. Но кошки их постоянно обрывали.

«Эй! На вантах!» — кричал я и швырял кедами.

Из окна были видны три высоких трубы городской ТЭЦ-2. Мы определяли по ним погоду. Если дым шел справа налево — к дождю, если слева направо, значит, солнце. Летом был, как правило, дождь, зимой — солнце и ветер. Рамы выли и выгибались. Мы затыкали их ватой, вату выдувало обратно на подоконник. Кошки гоняли ее по полу.

В коридоре пятого этажа были две лампочки и примерно сорок квартир. Наша под номером 516. Иногда одна лампочка гасла.

Я отчислился с третьего курса и женился. Вернее, в обратном порядке.

Белые свадебные туфли моей жены стояли на крышке пианино, чтобы их не погрызли кошки, и были единственным украшением нашей квартиры.

Магазин был через дорогу, в желтом двухэтажном доме с немецкой крышей. Мне так казалось. Высокие окна, потолки, всегда пусто. За молоком и маслом пенсионеры занимали в семь утра. Винно-водочный отдел в подсобке, туда надо было подниматься по деревянным прогнутым ступеням.

Когда приходили друзья, мы шли в винно-водочный отдел. Там всегда стоял портвейн. Но порой завозили бутылочное пиво. Однажды я видел, как какой-то парень взял одну бутылку, и вся очередь посмотрела на него.

Напротив магазина, через дорогу стояла на двух колесах пивная бочка.

Здесь вообще был культурный центр района.

Когда друзья уходили, мы шли их провожать и долго ловили такси на пустой, темной улице. Машин не было. Все затягивало туманом со Змеинки.

За магазином с немецкой крышей темнел глубокий овраг, по которому проходила железнодорожная ветка. По ночам было слышно, как локомотив тянет платформы к заводу бетоноконструкций. И свисток локомотива делал эту комнату с оборванными шторами сказочно уютной.

Когда деньги кончались совсем, я спускался на первый этаж, где был прикручен к стене телефон-автомат, и просил у прохожих по две копейки. Набирал так двенадцать копеек, шел в магазин и покупал там полбуханки хлеба. Мы жарили гренки, масла было достаточно.

Евгений Альбертович Мамонтов родился в 1964 году во Владивостоке. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Публиковался в журналах и альманахах «Дальний Восток», «День и ночь», «Октябрь», «Рубеж», «Сибирские огни». Лауреат премии имени Виктора Астафьева (2004) и премии О.Генри (2014). Преподавал русскую и зарубежную литературу в Дальневосточной государственной академии искусств. Член Международного ПЕН-клуба. Живет в Красноярске.

Еще из окна был виден серый кирпичный дом с нормальными квартирами, когда их по четыре на этаж, а не по сорок. И, глядя на него, я думал, что когда-нибудь мы переедем в такой дом. Там будет кухня, там будут отдельные ванная и туалет. И в квартире не будет тараканов.

За оврагом желтела военная часть. «Полста второй отряд» — как ее называли. Были видны плац за забором и здание с белыми колоннами, похожее на адмиралтейство. Накануне праздников там целыми днями маршировали матросы, обрывками неслись марши. А я слушал «Deep Purple», носил джинсы «Cadet», считал себя модным и боялся, что в следующий призыв меня таки загребут в «армейку». И буду я смотреть на свое окошко уже из казармы полста второго отряда, допустим...

Понемногу я знакомился с соседями. Актер Театра юного зрителя Толик Сыркин, светловолосый, похожий на испитого ангелочка, он после третьей рюмки пел высоким голосом и приглашал танцевать мужчин.

Боцман плавкрана Саша, величественный толстяк, выпивавший зараз половину трехлитровой банки пива и во время дискуссий в подтверждение своей правоты всегда кричавший собеседнику «Подпишись!».

Вадик, директор бани, ходивший в трико и длинном кожаном плаще по соседям, чтобы узнать, где от него прячется супруга. Во внутреннем кармане он всегда носил бутылку портвейна, объясняя, что это помогает ему от давления. У него часто кружилась голова.

Славик, полный и румяный продавец из ближайшего пивного ларька, который никогда не кичился перед нами своим высоким служебным положением. И по утрам мог по-товарищески отпустить в кредит.

На двери туалета, изнутри, у нас была приклеена карта Новой Зеландии. Я был уверен, что выучил ее навсегда. Думал, вот и отлично, пригодится. Я тогда считал, что как-нибудь обязательно приеду в Новую Зеландию. Прожить жизнь и не побывать в Новой Зеландии!

Однажды, позавтракав оставшейся с вечера черствой гренкой, я оборвал листок с дешевого перекидного календаря, чтобы вытереть им пальцы. Потом скомкал его и бросил на стол. Но бумажный шарик покатился и упал на пол. Я наклонился, чтобы его подобрать, — наперерез моей руке кинулся с грозным урчанием котенок по кличке Минька. Он схватил листок, как добычу, и стал пожирать его. Мы и сами питались небогато.

Я целыми днями слушал пластинки.

Мы курили в постели.

В банке из-под тихоокеанской селедки была песочница для кошек, которую нам было лень чистить регулярно.

Соседу по коридору мы продали пианино. Он носил красный халат и фамилию Таненбаум.

Теперь белые свадебные туфли моей жены некуда было прятать, и кошки их погрызли.

Мы считали, что счастье будет вечным.

2. Нижнепортовая (без номера, между 4 и 6А). Караульное помещение

Окна огромные, во всю стену, с наборными переплетами деревянных рам, поэтому верхний этаж походил на японский фонарь. Особенно зимой, когда шел снег. Междупутье в парке станции заметало. Стрелки продували по трубам из компрессорной. Я научился узнавать время на посту по положению звезд или по окнам в многоквартир-

тирном доме за Казанским мостом. Завидовал начальнику караула: сидит в этом «японском фонаре» и пьет чай. Оттуда видны все тридцать путей сортировочного парка от маневровой горки до Казанского моста, виден порт, когда там, за его кранами и мачтами, встает солнце.

Утро. Узкая, морковная полоска зари, длинное пепельное облако над ней, а выше жидкая бирюза, будто небо там глубже и своей дальней стороной касается уже рая.

Никогда потом у меня не было столько времени для созерцания пейзажей.

Столовая первого грузового района, столовая второго грузового района, докерская курилка на двенадцатом причале, горячая батарея под лестницей, открытая кабина тягача — как мало ты до этого знал о жизни! Как мало ценил такие вещи!

На девятой рампе пахнет рыбной мукой — туком, на десятой — мазутом, каменный пол жирно блестит, отполированный в лоск колесами автопогрузчиков.

Ночная очередь в столовой. Каски докеров на полу, подоконниках, стульях, как тральные буйки. А за кассой небожительница — сожженные в белую стекловату волосы, портовая красавица, бойкая на язык, дешевая и шикарная, как японская жевательная резинка.

— Распишись за своего Юзика, — говорит утром начальник караула Петр Григорьевич Ершов по прозвищу Рыба.

Я подхожу к журналу, расписываюсь в графе выдачи оружия против строчки ТТ-ЮЗ-538.

Петр Григорьевич говорит в трубку с диспетчером: «Ласточка! Это Петя, подскажи, куда наши вагончики с аппарели на пятнадцатом причале перекинули? Понял. Вот спасибо! Ну, будь кругленькой, красавица!»

Я шагаю в порт, принимать пост, смену мне сдает Владимир Иванович, тоже, как и Петя, бывший моряк, с загорелой крепкой лысиной.

— А чего переставили с аппарели? — спрашиваю.

— Ну, так... каждый прочит, кто как хочет, — разводит руками Владимир Иванович.

Я радуюсь про себя. Без аппарели двухъярусные платформы вряд ли станут разгружать, есть шанс отстоять всю смену в порту. Мне это на руку. Я тут уже все знаю, привык. Со мной стажер, показываю ему, как принимать, читаем акт. Владимира Ивановича отпускаю. Акт без привычки читать трудно. «Акб за пл П-завод» Да еще через старую копирку. «Аккумулятор за пломбой станции Петровский Завод», — объясняю я.

— Ладно, пойду отзвонюсь, что приняли без претензий.

Стажер остается у вагонов.

Буфет уже открыт. Порт — это тебе не парк станции. После звонка, после буфета, я останавливаюсь поговорить со знакомой табельщицей, бывшей крановщицей Леной. У нее золотая фикса, и докеры подшучивают: «Ленка, у тебя ведь этот зуб один настоящий, остальные вставленные».

— Я сегодня в ночь, приходи чай пить.

— Приду, если не переставят, — обещаю я.

Но платформы разгружают, мы возвращаемся в парк, а ночью я вместо того, чтобы пить с Леной чай, отправляюсь в Уссурийск, сопровождая экскаваторы «Komatsu». Забиваю валенками в ковш подобранный на путях лист картона. Устаиваюсь там. Состав дергает. Проплывает над головой вокзальный виадук. За городом ночь глухая, дикая, как будто первая на земле от сотворения мира. Ни огонька, ни звезды, только темная полоса леса вдалеке за снежным полем. Платформа концевая, ее болтает так, что трещат стальные растяжки, которыми прикручен экскаватор. Я ставлю валенки между зубами ковша, для устойчивости. Едем так три с половиной часа. Но это лучше, чем в прошлый раз в пустом контейнере, я там чуть не оглох.

Зато обратно сажусь на проходящий совгаванский, показываю проводнику удостоверение и маршрутный лист. Он молча кивает как своему. Я захожу в плацкарт и ложусь на свободную боковую полку. Я бы и в тамбуре на полу был рад.

Возвращаюсь на свою станцию только под утро. Каким уютным домом она кажется! Вот уже и «японский фонарь» нашей караулки.

Я выщелкиваю магазин, сдаю пистолет.

— В Уссурийске такая ласточка на весовой работает, — говорит Петр Григорьевич, — не познакомился?

За огромными окнами посинело, видны косо наметенные сугробы, силуэты кранов и мачт.

— Чет не успел, — отвечаю.

3. Нерчинская, 50. Карлейль

В холодильнике стояли пузатая бутылка китайского шерри-бренди и двухлитровая банка красной икры. Несовместимое. Других продуктов днем не бывало. Мы съедали все с вечера. Я преподавал в университете. В свободные часы слонялся по пустой квартире. Читал «Историю Французской революции» Карлейля. Смотрел в окно.

Вид чудесный: инструментальный завод, Некрасовский переезд и даже проспект Столетия до 11-го километра. Справа Снеговая падь, сопка Холодильник, завод Дальхимпром. Слева нефтебаза и Амурский залив. Все с высоты птичьего полета. Окна выходили на север. Квартира была на последнем этаже. Дом стоял на Орлиной сопке. За ним протыкала пустое небо телевышка. Во всех трех комнатах холодно. Хозяин, молодой инженер Паша, занимал самую маленькую и теплую. Он был младшим братом моего друга Димы. Я ушел от своей жены. Дима пустил меня пожить к брату. Ну и сам за компанию поселился.

Вечером возвращались Паша с Димой. Голодные и бодрые. Иногда приходили их приятели, выставляли на стол бутылки, и я забывал свою тоску. Мужская компания освобождала от сантиментов и по вечерам на фоне своего ежедневного горя, я становился особенно счастлив. Это острое ощущение счастья сквозь тоску запомнилось. Ходили в круглосуточный магазин, брали хорошую финскую водку и закуску попроще. Каждый рассказывал что-нибудь удивительное из своей жизни. Наутро болела голова, не оставалось ни закуски, ни выпивки, ни сигарет, ни денег. Только пустая, холодная квартира. Я снова слонялся от окна к окну. Резкая синева залива, четкие очертания сопки.

Перед сном Паша включал у себя над кроватью радиоточку на полную громкость и засыпал. Утром, без пяти шесть его будило радио.

Седьмое ноября в те годы уже не праздновали.

Паша отправился на катере ловить селедку.

Мы с Димой купили бренди. Пошли развлекаться. Стояли на пустом пирсе в Спортивной гавани. Солнце садилось. Вода отливала чернилами. Подняли воротники.

По дороге в рюмочную встретили каких-то пэтэушниц. Единственная красивая напилась в хлам. Две другие, с блестками на веках, звали нас в свою общагу. «Знаю я эту общагу, не пойдем мы туда», — сказал Дима. Я настаивал. Красивая несколько раз падала по дороге. Дотащили ее до общежития Гидрометеорологического техникума. Пошли к Паше.

Паша уже запек селедку в фольге.

Я смотрел в окно и думал, что вот в этом дворе я жил пятнадцать лет назад. Если бы мне тогда сказали, что я буду курить «Kent», пить виски и слушать «Deep Purple», включая ногой японский магнитофон, но при этом быть глубоко несчастным, я бы не поверил.

Это наблюдение впервые поколебало мои материалистические взгляды.

Отмененный праздник кончился. Легли спать рано.

Утром пахло селедкой. Блестели обрывки фольги. Приклеились к кухонной клеенке.

— Это диван особый, магический, — говорил Дима, — Помнишь Серегу? Он тоже на нем спал, когда из дому ушел. Сейчас все нормально.

— Вернулся? — спросил я.

— Ну... да. В Китае работает. Контракт подписал на три года. С женой отличные отношения. Переписываются.

Я старался использовать логику. «Во-первых, — загибал я пальцы, лежа в темноте и слыша, как за окном гудит инструментальный завод, — она выбросила в окно твой проигрыватель и колонки, во-вторых, подожгла, а потом утопила в ванне конспекты твоих лекций, в-третьих, кидалась на тебя пьяная с ножом, в-четвертых... в-четвертых... — останавливался я, как будто трех пунктов было недостаточно. — Ну вот, как это просто. Главное — включить логику! Великая сила», — думал я, засыпая.

Утром, не сказав своим приятелям ни слова, я вернулся домой. Два дня были счастливы. На третий, в двенадцатом часу ночи, я снова появился к Паше, с тремя царапинами через всю щеку.

— Н-да, — сказал Дима, — Располагайся.

Паша уже улегся под свою радиоточку.

Утром я так и пошел на лекции. Студенты шарахались.

По-деловому гудел и дымил Дальхимпром, весело блестели на солнце серебристые резервуары нефтебазы, золотился желтыми домами проспект Столетия, бодро синела вода в Амурском заливе, нарядный Людовик ехал на именины своей казни.

Все на свете были счастливы.

Дочитал Карлейля.

Посмотрел в зеркало. Брутально.

4. Ладыгина, 15. Zippo

Потом я встретился с В. Мы были знакомы по институту. Формально. Я ее не помнил. Хотя странно.

Такие запоминаются.

Она недавно развелась с мужем. Спрашивала, шурясь: «А ты совсем меня не помнишь?» Я улыбался, говорил: «Помню». Она смеялась, не верила: «Тебя подвезти?»

Квартира у нее выходила на запад, но закат заслоняла сопка. Окна верхних этажей золотыми отражениями ударили в стесанный склон.

«И что ты им преподаешь?» — «Ну, вот, например, про...» — «О! интересно», — сказала она, расставляя фужеры и хлопая дверцей холодильника. В квартире у нее были черная лакированная мебель и арочки в дверных проемах, по моде.

Показывала фото. «Это мы на гастролях в Японии» Я кивал: «А это что за старичок в очках?» Она стояла с ним в обнимку. «А это миллионер японский. Влюбился в меня. Подарки нам на корабль прислал для всей труппы». Я кивал. Спросил, понравилось ли ей в театре «Кабуки». «Какой? А-а... Нам некогда было! Кто вперед! По свалкам». — «По свалкам?» — переспросил я. «Автомобильным. Ну, чтобы машина получше досталась». — «Ага...» Я понял, что можно снова наполнить фужеры.

— Ну, это я в детском спектакле, «Изумрудный город», — листала она уже механически.

«Да, — подумал я, — такую девочку Элли с пятым размером бюста редко увидишь».

— Повторим? — она подняла фужер, глядя мне прямо в глаза.

— Я вас вчера с такой спутницей интересной видела на набережной, — говорила мне наша заведующая кабинетом Татьяна Васильевна.

А я не знал, что ответить.

— Про таких говорят — женщина, созданная для любви.

Я улыбался, кивал, отводил глаза.

Студенты стали глядеть на меня как на состоятельного, упитанного чудака в кашемировом пиджаке, который из баловства читает лекции, приезжая на них в машине, за рулем которой сидит ослепительная блондинка. Кафедра нахмурилась.

«Вот ты и стал мещанином и сребролюбцем», — думал я, звякая откидной крышкой зажигалки «Zippo».

Теперь я старался платить за приятелей, когда мы выпивали. Как бы в компенсацию своего падения. То есть нравственное чувство во мне было тогда еще живо. Особенно в нетрезвом виде. По пьянке несколько раз возвращался то к первой жене, то к Диме с Пашей. Все уже устали от этого.

— У тебя просто экзистенциальный кризис, — сказал Иван.

— Какой кризис? — спросил Дима, рассматривая мой двубортный пиджак с золотыми, как у швейцара, пуговицами.

Потом мы снова пошли в магазин. Иван надел малиновую феску, которую В. привезла мне из Турции.

— Тебя надо прийти в себя, все обдумать, — сказала В., чувствуя мои душевные метания. — У меня есть пустая квартира на Нейбута, поживи там один, — и протянула мне ключи.

5. Нейбута, 27. Радиозакат

Крупная, от руки, надпись «Добро пожаловать!» выглядела издевательски в этом подъезде. Зассанный, разрисованный, с обгорелыми почтовыми ящиками.

Нейбута, вообще, район простой. Но не худший.

Двухкомнатная квартира без занавесок на окнах скудно обставлена той разномастной мебелью, что обычно свозят на дачу, если жалко выбросить. Пустота сообщала комнатам свежесть. Отовсюду падал свет. В кухонной раковине лежала засохшая муха. Под подоконником, у стены чернела пара чугунных гантелей.

Из окна я увидел город таким, каким его можно печатать на открытках. Вид сверху на бухту Золотой Рог. Строго в западном направлении. Перед таким окном можно было сидеть весь день. Что я, в общем, и делал, слушая местную музыкальную радиостанцию VBC в компании бутылки малазийского рома или водки «Белый орел». Наступило лето, и занятия в университете кончились.

В. привезла мне посуду и черно-белый телевизор. Я так и не включил его ни разу. Вместе нам было не до телевизора, а в одиночестве я предпочитал радио.

Самым досадным было, что из этого окна я мог видеть свой бывший дом на Окатовой, и по вечерам старался не смотреть в ту сторону. А какая разница, если все равно об этом думаешь.

Когда тебе говорят «поживи один», это не следует понимать буквально.

Регулярно приезжала В., усаживалась в кресло-качалку, высоко открывая красивые, полные ноги.

Пили вино.

Варили сардельки в чугунной кастрюлке.

Однажды вечером она не застала меня дома и на другой день расспрашивала, где я был. Я в первый раз увидел, как взгляд у нее становится металлическим и плоским.

Кредит впервые потребовал погашения.

«Все это ужасно!» — думал я, сворачивая пробку очередной фляжке отвратительного малазийского рома. Закат пылал над бухтой.

Там, на улице, если пройти немного вверх по направлению обратного движения автобуса номер шестнадцать, было почтовое отделение на первом этаже, в пристройке дома из красного на закате кирпича, в тени щедро распутившейся тяжелой, низкой ветки. И я специально ходил туда по вечерам смотреть на эти кирпичи и тень от ветки. Это напоминало мне что-то из детства.

Просто стоял и смотрел. Из дренажной трубочки в нижнем кирпиче стены журчала вода.

Одним из диджеев на радио VBC был Иван. Я радовался, когда узнавал в эфире его голос, но никогда не звонил на радиостанцию и не заказывал никаких песен. Достаточно было той муры, что они передавали и без моих просьб.

Иногда я по нескольким дням жил у В., а сюда, в «добро пожаловать», к своим радиозакатам возвращался как домой. Видел, что чугунная кастрюля на плите поросла изнутри мхом, мусорное ведро завоняло, за плитой батарея бутылок «Белого орла» и рома. Я наводил порядок и ложился в ванну. Смотрел на крашенную синим до середины стену и слушал, как капает кран. Пылал закат. Пело радио. Потом наступала ночь, как с картинки шестидесятых годов, с единственным горящим где-нибудь окошком среди немых кубов огромной новостройки. Кухня. Физики, лирики. Приплюснутое полнолуние над черной бухтой с неровными нитями огней на воде.

Однажды В. сказала мне, что у ее подруги, однокурсницы, неприятности. Муж подруги, известный в городе криминальный авторитет К., совладелец рыбодобывающей флотилии, вынужден был скрываться. Сначала взяли его «близкого», как это называлось в их среде. К. распорядился, чтобы «близкому» доставляли в камеру обеды из ресторана. Вскоре пришли и за самим К. Он отложил завтрак. Сбросил из кухонного окна веревку и спустился по ней с пятого этажа на козырек подъезда. Спрыгнул. Сел в свою машину. Прогрел двигатель.

— Лариса говорит, ему теперь надо где-то пожить, пока они решат вопрос с милицией, — сказала мне В.

Пришлось мне съезжать. Пасмурное воскресное утро. Люди на остановке молча стояли по краям широкой лужи. Подошел, отразившись в ней, желтый автобус. Мокрый резиновый пол ребристо чернел в салоне. Я сел у окна.

Мелькнула в тумане тяжелая ветка сырой листвы... Прощай, трубочка!

6. Ладыгина, 15. Донник, сурепка, разбитое сердце

Когда мы ездили с В., я всегда пристегивался. Она любила врубить на полную громкость кассету с турецкой музыкой и «втопить» педаль. Сверкая улыбкой и рвущимися на ветру волосами, она обходила хмурого водителя в грозном BMW и подпевала: «Ой, мама, шикадем, шикадем!»

У нее был любовник в Стамбуле. Турок Юсуф. Встречал ее в аэропорту на черном «мерседесе» с букетом красных роз. Эта история была причиной развода В. с мужем.

«Ой, мама, шикадем, шикадем!»

— Я чувствую себя лицом кавказской национальности, — смеялся Иван на заднем сиденье.

В спальне у В. висел ее портрет, написанный местным художником. Картина называлась «Золотой саксофон». Безобразное, аляповатое полотно. Пальцы В. на саксофоне

выглядели как сосиски. Грудь вообще не получилась. Возможно, художник боялся показаться нескромным.

— Ты играешь на саксофоне?

— Нет. Это фантазия художника, — ответила В. — Тебе нравится?

— Я в этом не разбираюсь.

Окна верхних этажей по-прежнему отражали закат, стреляя в тысячелетние срезы породы. А когда шел туман, не было видно даже фонарного столба у дороги. Все плыло в молоке, из которого изредка проступала хмурая скула сопки.

Книжные полки у В. поблескивали глянцевыми обложками. «Ночь страсти», «Грешница», «Убийца по вызову», «Рабыня Изаура», «Разборки в большом Токио», «Объятия тьмы»... Я перелистал картинки. Испуганная дама в комбинации и черная рука с пистолетом.

— Ты их читаешь?

— Некогда. Буду читать на старости лет.

На Окатовой мы читали Кортасара, Маркеса. Моя бывшая жена даже составила полное генеалогическое древо семьи Буэндия. Но теперь в «объятиях тьмы» я чувствовал себя спокойней.

До встречи с В. я не знал, что есть женщины, которые даже дома носят красивые туфли. Кроме того, каждое утро она укладывала плойкой свои локоны и покрывала их лаком. Большого совершенства от женщины требовать я не мог.

Я читал Ломброзо и разглядывал в бинокль разнотравье на склонах сопки. Трава дрожала, атласно лоснилась под порывами ветра. Мелькали сурепка, лиловые цветы репейника, львиный зев, разбитое сердце, иван-чай, желтые кисти донника, машущие с каменистых откосов, тысячелистник, серебристые метелки полыни, изредка курослеп, чаще желтый, чем голубой... Мир напротив нашего длинного, как дамба, дома был населен огромным цветущим братством. Погожими днями я слышал оттуда стрекот кузнечиков и равномерный звон цикад. Я смотрел на эти отвесные поля Семирамиды снизу, из окна пятого этажа. Они располагались вверх, под самым небом, я же вровень с геологической породой времен юрского периода. Это наводило на размышления.

Чезаре Ломброзо писал, что в августе учащаются лжесвидетельства и поджоги, многочисленны подмены детей; среди каретников и шлифовальщиков мрамора в Турине замечен в этот период рост преступлений против собственности.

«Вот бы славный вышел календарь, если совместить мои ботанические наблюдения с моим чтением», — подумал я и в свободное время набросал кое-что.

Желтая каменистая дорога опоясывала гору по верхней трети склона. Она была как раз на уровне моих глаз. Я видел ее из окна. И сейчас, закрыв глаза, вижу так четко. Выбоины, камни, желтая грязь летом, зимой — твердая корка. Ветер всегда сметал отсюда снег. По утрам и по вечерам, особенно летом, здесь был такой туман, что я не различал ни голой верхушки сопки, ни домов внизу. Можно было представить себя где угодно. Когда туман расходился, с высоты сопки я видел почти весь город, бухту в центре, Уссурийский залив слева и Амурский справа.

Тем временем моя бывшая жена сошлась с соседом по длинному коридору на Окатовой, 16 Вовой. Я его знал. Даже выпивали вместе. Бывший прапорщик, бывший слесарь ЖЭУ, хороший парень. От него ушла жена Лена. Ее я тоже помнил. И часто видел в центре. Она работала продавщицей в цветочном пассаже возле магазина «Зеленые кирпичики». Даже здоровались по старой памяти.

Вова был противоположность мне: мастеровитый, решительный, физически сильный. Жизнь могла у них пойти. Он успел чего-то там наладить, починить.

Вова не мог только одного: вытерпеть пьяных выходок моей бывшей супруги. Он не ушел, как это сделал я. Он ее просто избил. Они решили расстаться. Но простили друг друга. И это стало стилем их жизни. Пьянки, ссоры, драки и примирения.

Самое смешное — то, что делал я. Я приезжал. Кричал на них. Говорил, что так нельзя жить. Надо бросать пьянство. Привез им два мешка жидких обоев. Заставлял делать ремонт. Наконец сам стал лепить эти проклятые обои. Подарил им новый телевизор и видеоманитфон.

В. страшно ревновала и запрещала мне поездки на Окатовую. Все это мне приходилось делать тайком.

По ночам я просыпался в ужасе. Я думал, а что если Вова спьяну ее убьет. Я представлял, как я поеду, допустим, на опознание; как я буду чувствовать, что это, в сущности, моя вина, ведь это я бросил слабого человека, единственного...

Я доставал из-под кровати бутылку и делал глоток.

А здесь... на этой желтой каменистой дороге, в сплошном тумане мне было хорошо. Я мог представить, что ничего этого нет. Например, что вокруг шестнадцатый век, Шотландия, и вот я иду куда-то... желтые цветочки донника машут мне с обочины.

7. Горького (Тверская), 9. Годзилла

Мой приятель Женя Реутов писал стихи про Годзиллу.

Жил он по адресу: Москва, улица Горького, 9. Напротив телеграфа. Без номера квартиры, потому что он жил в этом огромном доме один. Всех уже выселили.

Квартира на пятом этаже.

— Видишь дом напротив? — спрашивал он, указывая во двор, — Это дом композиторов!

— Ну, — кивал я, не понимая его восхищения.

— Представляешь, там живут сплошь композиторы. И вот они вечером садятся сочинять, допустим, музыку. Смотрят в окно и видят мой дом. А в нем темно. Только одно мое окошко светится, как сейчас. Они смотрят на него и сочиняют. Ты понимаешь, старик?

— А ты понимаешь, что ты, возможно, единственный в мире человек, который пишет стихи о Годзилле? — спросил я.

— Я буду публиковать их с посвящением тебе.

Мы снова выпили по этому поводу.

Как только вернется Годзилла
И шухера здесь наведет —
Из шкапчика выну чернила,
И выведу: «тронулся лед».
А может быть: «кончилось лето»,
А может: «настала весна».
Ведь для вдохновенья поэту
Годзилла, как воздух, нужна!
Пусть автор и пьет по таланту —
Не стоят стихи ни рубля,
Когда он не видел Гиганта
На фоне развалин Кремля.

— Здесь все мое, старик. Бери что хочешь!

Мы часами бродили по этажам, разглядывая брошенные вещи. Картины, люстры, мебель, книги, пластинки, игрушки довоенной поры. Я взял на память маленького пластмассового жирафа. Он умещался в кулаке.

За окнами Тверская, а здесь по стенам и коридорам тихо лежит зеленоватый свет.

— Ты знаешь, что в 1812 году тут было общежитие французских солдат?

— Не может быть!

— Посмотри на эти ступени, видишь, какие стесанные? По ним звенели шпоры наполеоновских кавалергардов!

— Тебе здесь не страшно по ночам?

Я вообще не понимал, зачем этому дому сторож, если на первом этаже все равно была милицмейская вахта.

Раньше Женя и его бывший однокурсник по театральному факультету Коля Бульботко жили в Хлыновском тупике, напротив Театра имени Маяковского. Они приехали покорять Москву и на первых порах устроились дворниками. Им дали бывшую коммуналку. Совсем убитую, но большую. У Жени с Колей было по комнате. В третьей комнате Коля оборудовал что-то вроде студии, он там занимался лепкой и цветоводством. В четвертую просто складывали пустые бутылки. В пятой время от времени репетировала рок-группа, играющая в стиле «The Doors», а так в ней оставались ночевать гости. В шестой... хотя я не уверен, была ли шестая. Были еще кухня и туалет с цепочкой, ведущей к чугунному бачку под потолком.

Чудесное было время, начало девяностых. Женя писал катрены, как Нострадамус. «Старик! Они сбываются», — с ликующим ужасом шептал он. Тогда вообще все сбывалось.

Любимым его именем было Иона. Женя записывал сны и составил из них роман с эпиграфом: «Иона же спустился в трюм и крепко уснул».

Отдыхая от серьезных трудов, Женя сочинял палиндромы: «Хам, увы, в умах!», «Мачо ли мил очам?». И, наконец, мой любимый — «Гробик Рембо — обмер киборг». В конце концов это стало получаться у него произвольно: «О, в Орехово х...о!»

Тем временем его роман вышел в журнале одного из американских университетов.

После этого уже не кажется странным, что это человек живет совершенно один в огромном старом доме в центре Москвы.

Единственным его достоянием была тяжеленная пишущая машинка.

— Выселяют. Уезжаю в Краснодар, предложили там работу. Посмотрим...

— Хорошую?

— Ну, они все хорошие, — пожал плечами Женя.

На прощание выпили. Женя взял свой небольшой чемоданчик, я — его печатную машинку.

— Смотри не урони, старик, это все, что у меня есть.

— Хорошо, — ответил я, через два шага уронил машинку и засмеялся.

8. Руднева, 6. Гордость и переубеждения

Когда переезжаешь из пяти комнат в одну, то не обращаешь внимания на мелочи. Я, например, не запомнил, как и с кем я встретил Новый год в этой квартире. Когда я въехал, была еще осень и свернувшиеся в трубочку дубовые листья шуршали под ногами. За дубами был забор, а за ним железнодорожная ветка и завод. (Мои вечные спутники!) Справа, над убитой долиной Дальхимпрома, прогнувшейся балкой висел Рудневский мост (всегда пустой, брак строительства), еще правее от моста в лесном массиве было заброшенное лагерное кладбище.

Дом крепкий, старый, окна фонарем, деревянная лестница, два этажа. Квартиру мне сдали по дружбе мои знакомые, аферисты. Мы раньше вместе учились.

«Женщина, рожденная для любви», помогла мне перевезти вещи. От радости расставания она стала нежной. Был тихий день, туман, капли на голых ветках.

Первую ночь на новом месте обычно плохо спишь. Я вышел в туалет, совмещенный с ванной. Увидел в белой новенькой раковине огромного паука. Вот паука я запомнил, а комнату не особо.

Утром стекла запотели, только поверху влажно сияла синева, и вдруг я почувствовал себя как в детстве. Новым. Тихо и радостно. Почему — не знаю. Лежал, улыбался.

Покой, никто меня здесь не знает, хорошо. Новая жизнь.

Но моей соседкой оказалась преподавательница с нашей кафедры. Одинокая интеллигентная дама молоджавого вида, любительница романов Джейн Остин. Это соседство было совсем некстати, потому что ко мне на свидания приходила студентка Алина, которая как раз писала дипломную работу у этой преподавательницы. Они могли встретиться у подъезда, на лестнице... Они могли не встретиться, конечно. Но слышимость была тут на удивление хорошая для старого дома. Я слышал, как ударяет коготками по полу такса в соседней квартире. И я просто запретил себе нервничать по этому поводу. Это мелко. Алину на всякий случай предупредил о соседстве. И что же?.. Она, по-моему, нарочно орала еще громче!

Реакции со стороны моей соседки не последовало, и я понял, что можно полагаться на людей, читающих Джейн Остин. Относитесь к ним без предубеждений, ибо у них достаточно гордости, чтобы воздержаться от мелких поступков.

Поблизости был только один магазин. Крохотный. В нем посменно работали две продавщицы. Знали всех местных старушек и алкашей. Стали здороваться и со мной. Кроме продуктов, я брал пиво. Иногда коньяк, мартини или шампанское.

Коньяк предназначался для Инги.

Мартини для Надежды.

Шампанское для Тамары.

Алина пила чай.

Но эти запотевшие окна, синева вверх, запомнились как обещание.

Сбоку я приклеил к оконному стеклу карту Нью-Йорка и фотографию какой-то улицы на Манхэттене. Небоскребы, желтые такси. Друг Дима привез из Америки.

9. Окатовая, 20. Китайская серенада

Я думал, что меня ждет тот же вид на трубы ТЭЦ-2, только с разницей в несколько градусов и пятнадцать лет (см. начало). Но окна выходили на другую сторону. Там была спортивная площадка перед школой номер пятьдесят девять.

Штор не было и после обеда, я снимал с кровати матрац и ставил его перед окном.

Когда сосед напротив варил химку, мне приходилось открывать обе рамы, чтобы не угореть от ацетона.

На стене в общем коридоре были написаны маркером девичьи стихи об одиночестве.

В пять или четыре утра в чью-нибудь дверь обязательно долбили: «Открой, с...! Открой по-хорошему».

Поднимаясь по лестнице, я узнавал свой этаж по огромному красному х..., нарисованному маркером на стене.

Из окна был виден светло-синий угол пятиэтажного дома, в котором были нормальные квартиры. Простое, тихое, немного скучное счастье всегда было поблизости, всегда так недостижимо.

Возвращаясь с частных уроков, я слушал оркестр Марека Вебера. Сопку заволакивал такой туман, что я не видел улицы внизу. Чувствовал себя в этой комнатухе, как в капсуле или в последнем пузыре воздуха в недрах затонувшего судна. Из тумана под окном доносился то смех, то пьяные крики. За дверью по общему коридору за кем-то гнались. Оркестр Марека Вебера исполнял «Китайскую серенаду». Я, как всегда, не знал, что счастлив.

10. Прапорщика Комарова, 35А. Конспирация. Бомжи. Поля Вечной Охоты

Я никогда раньше не жил на первом этаже. Стоит приоткрыть окно, и тебе уже советуют, как варить кофе, одеваться... «Да быстрее, чего ты там возишься!» Это, конечно, не мне, это кому-то там, под окном. Но я вздрагивал с непривычки.

Квартира капитана. Спальня обшита деревом, как на яхте, которую я когда-то в юности охранял в порту. Полный шкаф заморской выпивки. В ванной дорогие одеколоны. На мебели чехлы, всюду пыль — можно рисовать. Капитан уже два года живет в Таиланде, открыл там свой бизнес — гостиницу.

На окнах выкрашенные белым ажурные решетки. За ними палисадник, а дальше пятиэтажное общежитие института, в котором я преподавал после того, как ушел из университета.

Я въехал сюда в сентябре и прожил до Старого Нового года.

Мы с Димой были друзьями с четырех лет. Он высчитал и каждый год меня поздравлял. «Мы уже двадцать лет друзья!» Звучало эффектно, когда нам с ним не исполнилось еще и по двадцать пять. А теперь вообще пугающе. «Сорок лет, как знакомы».

Это Дима поселил меня тут. Капитан был его соседом и приятелем.

Почти каждый вечер Дима приходил меня проводить, звал к себе обедать и ужинать.

Однажды днем я уснул в этой яхтенной квартире, не слышал, как Дима звонил, ему пришлось открыть дверь своим ключом. Я проснулся от прикосновения руки. Мне было досадно, что меня разбудили. «Извини, я просто испугался, вдруг ты умер...»

Вечерами Дима просто заходил ко мне покурить, разъяснял:

— Ты здесь на полулегальном положении, понимаешь?

Я не понимал, но кивал.

Капитан дал согласие (неохотно уступил по дружбе) лишь на мое временное проживание (пару недель), а я кантовался тут уже второй месяц.

Это я понимал. Я не понимал, кто должен все это отследить и сообщить капитану в Таиланде.

— Шторы надо задергивать.

Испортился холодильник, и я вывесил пельмени в сетке за окно.

Дима явился в страшном волнении:

— Ты демаскируешься!

Дима как всякий высоконравственный человек верил в незримое око, которое фиксирует всякий наш поступок, чтобы после взвесить его на весах справедливости.

Дима — самый хороший и правильный человек из всех, кого я встречал. Это его единственный недостаток. Но мы ладили, несмотря на его неустанную заботу обо мне. Он считал благородной свою заботу, я — свое терпение.

Как бы по касательной от собственной нравственности, Дима берег и мое целомудрие: «Никого сюда не приводить. Ты здесь на нелегальном положении».

А еще до холодов, до вывешенных пельменей, я любовался пышным цветом в палисаднике, отделенном от моего окна узкой полоской тротуара. Там стояли скамейки,

а подальше старый диван без ножек. На диване по вечерам усаживались бомжи. Они выбирались из люка теплоцентрали, что таился в самом центре палисадника, придавая ему нечто сказочное. Подземные жители. Двое мужчин и две женщины. Главной у них была та, что пользовалась косметикой и делала прическу. Ну, просто закалывала волосы большой золотистой заколкой. По утрам она руководила. Сходились окрестные сотоварищи. С мешками, канистрами. Женщина с заколкой распоряжалась, кто, куда и зачем пойдет. Бригадир. Эта живописная группа располагалась как бы в раме с бордюрным орнаментом из переплетенных, но подвижных листьев, а понизу были пущенные крупные осенние астры.

В торце дома был магазин, в котором со мной постоянно здоровались студенты и уступали свою очередь.

По вечерам я смотрел на окна их общежития, празднично гадая, кто из студентов украсил свою комнату огоньками елочной гирлянды, кто розовым абажуром, а кто обходится без занавесок и довольствуется голой лампочкой. Я помнил это общежитие с детства. Мой отец преподавал в этом институте и на этой же кафедре, только другую дисциплину. Однажды, когда мне было шесть или пять, мы с отцом навещали какого-то его коллегу, молодого преподавателя, который жил с женой и грудным ребенком именно в этом общежитии. У меня в детстве была нянька, студентка Наташа, которая тоже жила в этом общежитии. Потом я встречался с девушкой Аллой, студенткой театрального факультета. Какая у нее была комната? В общем, глядя на эти окна, было о чем задуматься.

Надо мной жила девушка, которая всегда носила что-то розовое и ездила в розовом автомобиле «Nissan March» с плюшевыми игрушками в салоне. На католическое Рождество они со своим парнем развлекались тем, что швыряли петарды в люк к бомжам.

А я снова подумал, что сегодня день рождения моего пса, а я даже не могу его погладить. Теперь он живет с моей бывшей семьей за городом. Я не видел своего друга уже три месяца. Может быть, он вспоминает меня, может быть, грустит, думая, что хозяин отошел в Священные Поля Вечной Охоты, и утешает себя мыслью, что хозяину там хорошо...

11. Ладыгина, 2. «Девушка спешит на свидание». Снова вместе

Свершился некий круг. Я вновь на этой улице. Квартира убитая, но дешевая. Сдал мне ее один буддист. Штор нет, тараканы. Второй этаж. За окном подпорная стенка. Под ней автомобили. Над ней детская площадка. Над площадкой верхушка той самой сопки, разнотравье которой я так внимательно разглядывал когда-то (см. Сурепка, курослеп, разбитое сердце). Только это ее обратная, северо-западная сторона.

Мне подумалось, что буддист специально оборудовал квартиру для тренировок терпения и невозмутимости духа. Изуродовал, как мог. Перегородил одну комнату и сделал там кухню, заселил туда тараканов, а там, где была изначально кухонька, сделал вторую комнату, завалил ее хламом и поселил туда беременную женщину. Она спала на полу в обнимку со своим ноутбуком.

«Ольга скоро съедет, ей рожать пора». Я пожал плечами. Выбора у меня не было.

Ольга была молода, красива и загадочна. Кто она и почему здесь живет? Какое отношение к ней имеет этот буддист?

Над нами жила семья узбеков. Очень многодетная, по вечерам я пытался сосчитать их детей, когда их по очереди купали в ванне.

С загадочной Ольгой мы вежливо обменивались деловыми репликами. Когда она съехала, я почувствовал некоторое одиночество, хотя теперь можно было курить в туалете, а не на площадке.

Покурил.

Слушал, как узбеки купают своих детей. Это умиротворяло.

В марте я простудился и лежал с температурой чуть не в бреду. Позвонил на работу, предупредил. Оделся. Сходил в аптеку — синее небо, резкий ветер и крутой подъем. Вернулся весь мокрый.

Узбеки наверху ломали стены перфоратором. Я думал, что проломится потолок. Солнце светило в окно весь день. Вечером ушло и перфоратор тоже. Я включил фильм «Девушка спешит на свидание», 1937 год. Температура спала. Я смотрел эту чепуху счастливый.

До сих пор люблю этот фильм.

А однажды ко мне привезли Монти. Насовсем. Так решили. Я заранее варил ему кашу. Волновался перед встречей. Он еще из машины увидел меня, а я его.

Первое время на новом месте он тосковал, когда я уходил на работу, и я включал ему на весь день диск Чета Бейкера.

Однажды во время прогулки на Монти напал стафф, которого дура хозяйка спустила с поводка. Успел только ударить Монти клыками в бедро. Я упал сверху на стаффа и стал душить. Мы катались по земле. Подросла хозяйка, пристегнула.

Наутро у Монти сильно опухла лапа. Я выносил его на улицу на руках. Он виновато делал свои дела у подъезда на газоне. Соседи не решались сделать замечание, глядя на мою морду. Ездили к ветеринару. Сказали, что нужно делать операцию под общим наркозом. Приятель Дима Настичь помог мне отвезти Монти. Мы оставили его в клинике и вернулись. Ждали. Я пил пиво и курил.

После операции ночью у Монти поднялась температура, он все никак не мог улечься, и я перенес его на диван, звонил в круглосуточную ветеринарную помощь. Потом еще долго ходили на перевязки, снимали швы. Монти терпел. Я дома делал ему все необходимые уколы. Он понимал.

Стали снова выходить гулять на сопку. Донник, курослеп и сурепка уже расцветали.

— Поедем в отпуск? — спрашивал я Монти. Он глядел снизу, улыбаясь, уже почти не хромал.

12. Героев Хасана, 16. Вместе на работу

Вернуться в прежнюю квартиру на Ладыгина, 2 мне не удалось. На время отпуска я уступил ее Ивану. Временно. Но Иван так увлекся тренировками по буддистской системе, что после него я смог прожить там только два часа. Позвонил, сказал, что уступаю ему квартиру совсем.

«Зачем ты травил тараканов? — спросил Иван. — Только хуже стало». — «Извини», — говорю.

— Живи у меня пока, — сказала Инга.

— Не могу, я с собакой, и у тебя собака.

У Инги была однокомнатная квартира. Мы привязали своих собак к разным батареям. Устроились на разных диванах, каждый возле своей собаки. Я рассказал, как мы с Монти летели в отпуск и обратно. На обратном пути была посадка в Хабаровске, когда мы уже вернулись в самолет, ко мне подошел бортпроводник и сказал, что клетка моего пса сломалась и грузчики опасаются грузить багаж. Боятся лабрадора. Я вышел с бортпроводником из самолета, турбины грохотали, забрался в багажное

отделение. Монти сидел среди груды чемоданов. Я был в ужасе, что его завалит во время полета, и попросился остаться с ним в багажном отсеке. Мне не разрешили. Грузчики забросили чемоданы. Я вернулся в салон. Когда мы сели через час в нашем аэропорту, бортпроводник подошел ко мне и вывел меня первым, чтобы я смог снова забраться в багажное отделение. Мы выбрались с Монти и разбитой клеткой. Я был счастлив, что все обошлось, и мечтал только принять ванну. Погрузились в такси. На Ладыгина оказалось, что вся ванна заставлена грязной посудой. Я дал Монти воды, единственный оставшийся у меня бутерброд и лег спать. А через два часа позвонил Инге и заказал такси.

— Дорогая клетка? — спросила Инга.

— Да фиг с ней, — сказал я.

А на другой день выяснилось, что ее соседка сдает квартиру в этом же коридоре, почти напротив. Мы с Монти въехали. Я разложил диван. Места в комнате не осталось. Чисто, никакого запаха, ни одного таракана. В окно видно небо. Склон сопки. На нем в густой листве беседки детского сада. Под окном подпорная стенка, надпись «1984, Джон Аруел», угол кафе. Инга говорила, что в этом кафе собираются бандиты обсуждать свои дела. Она знала это от своего любовника, который сказал ей: «Если что, по братве я Коля-хитрый».

До работы можно было ходить пешком, и я часто брал Монти с собой. Мы шли вдоль пышных осенних палисадников. Гудели тяжелые шмели. Мы шли вдоль трамвайной линии в тени старых тополей, и Монти всегда настораживался, тянул в сторону, когда мы проходили мимо ветеринарной клиники. Помнил.

Вахтерша встречала нас фразой: «Мы с Мухтаром на границе».

Инга вела уроки в верхнем кабинете, я в нижнем. Это была частная английская школа. Два разных кабинета в офисном здании. Детям нравилось, что в кабинете сидит «собачка». «Можно ее погладить?» — «Это он. Можно». — «Не укусит?» — «Нет».

Потом мы шли домой на обед тем же путем, а с обеда — другим через сопку. Оттуда были видны в синеве трубы ТЭЦ-2 и облака: длинные, плоские, как мазки малярной кисти. Иногда я оставлял Монти дома, и тогда он смотрел на меня этим своим взглядом. Вопрос и преданность.

По выходным мы вместе с ним ходили за продуктами на рынок. Иногда я заходил постричься в китайскую парикмахерскую. Монти сидел у моего кресла. Китайские парикмахеры не возражали.

На базаре я покупал курицу. Из одной половины варил себе бульон, другую половину добавлял в овсяную кашу для Монти. На десерт нам обоим брал зоологическое печенье. Себе пару грейпфрутов. Огромные, цвета заходящего солнца, они стоили очень дешево.

На ночь я ставил диск Чета Бейкера. Монти забирался ко мне на кровать. У нас были схожие музыкальные вкусы.

День учителя отмечали у меня. Диван пришлось сложить. Танцевали. Монти лаял. Я схватил его, как барашка, и взгромоздил себе на шею, так и танцевал с ним под песню «Sacred darling» «Gogol bordello». Инга сняла на телефон. «Покажу учителям в лицее, как надо отмечать профессиональный праздник», — сказала она.

Узкий городской пейзаж между стеной и сопкой, украшенный трубой ТЭЦ-1, с каждой неделей бледнел, приближаясь к зиме, сужаясь дополнительно по световому времени, как в раме. На сопке стали видны все беседки детского сада, и на их крышах по утрам блестел иней. Дети цветными ботиночками долбили первый лед. На базаре кончились грейпфруты.

**13. 405 Circle Ave., Takoma Park, Maryland. —
176 street, Washington Heights, New-York**

Я ведь мог отказаться от этой поездки. Ну, просто если бы был лучше, чем я есть. Я понимал, что уже ничем нельзя помочь. Но можно было остаться до конца. Я не остался. Эту поездку готовили так долго.

Окон не было, потому что это был подвал. Комфортабельный, с камином и ванной комнатой. Бейсмент, как их здесь называют. Мы работали в Библиотеке Конгресса уже три дня, когда утром мне позвонили из дому. У них в России был вечер. Я ничего не сказал Диме и нашей хозяйке. Я ничего такого не почувствовал, как это бывает. Просто словно погрузился под воду. И оттуда слышал. Дима сказал, что сегодня он может поехать без меня, потому что девушка-полячка в нужном отделе библиотеки говорит по-русски. Я кивнул и стал дожидаться, когда он уедет. Потом пошел вниз по Circle Avenue, перешел дорогу и стал подниматься вверх, вдоль трассы. Небо, дорога, линии электропередач — все почти как у нас зимой, только без снега. Наверху был кирпичный магазинчик, и чернокожий бомж попросил у меня денег. Я дал ему один доллар и купил себе упаковку пива. Потом я приходил еще несколько раз до темноты. Продавец-китаец уже молча брал с полки упаковку. Стекло изнутри магазинчика было зарешечено, как у нас на Окатовой в девяностые.

Бродил по пустым улицам одноэтажного городка Такома-Парк. Сидел на ступеньках возле какой-то школы, курил и пил пиво. Зажглись какие-то высокие, промышленные огни за дорогой, и я подумал о трубах ТЭЦ. Но это были не они.

Когда я вернулся в наш бейсмент, Дима посмотрел на меня и сказал раздраженно:

— Хватит уже бухать!

— Монти умер, — ответил я, сидя к нему спиной.

И Дима еще более раздраженно ответил:

— Ну, извини!

Я даже удивился. Как если бы он мне вмазал.

Потом мы поехали в Нью-Йорк, и это была длинная поездка на автобусе фирмы «Greyhound». В Нью-Йорке мы остановились на Washington Heights, 176 street. Знакомый по facebook поэт, переводчик Эзры Паунда должен был встретить нас возле станции метро. Мы ждали, куря возле урны, напротив сквера. Уже немолодой, длинноволосый поэт появился с сигаретой в руке и в трико с узорами. Он дал нам ключи от квартиры своего соседа и приятеля, итальянского режиссера. В квартире были лаковые полы, высокие потолки и такая же цепочка под сливным бачком, как и в Хлыновском тупике.

Мы разместились в двух разных комнатах. За окном была пожарная лестница, знакомая мне по фильму «Вестсайдская история», дальше сквер. В сквере играли дети, лаяла собака. Дима сказал через дверь своей комнаты, что собирается посмотреть город. Неудобно было отказать, он ведь не знал языка.

— Как мне в этой рубашке? — спросил он, побрившись.

— Отлично, — сказал я.